

ЕГОРИХИНО ЗАВЕЩАНИЕ

1

Снился Егорихе обычный сон, какие всегда снились в больнице. Дом, корова Жданка, кот, собака, подруги Паня и Юрьиха. Но в то же время сон этот был необычным: дом почему-то чудился запущенным, корова жалобно мычала, голодно мяукал Топся и беспризорно выл дряхлый Гай. А подруги вместе с ней, с Егорихой, бесплодно гадали, когда же это она, Егориха, могла так застудить или зашибить грудь, что образовалась в ней неизлечимая хвороба.

Егориха даже устала от этого сна. Попробуй припомни, где и в кой час нажил недуг, ежели стылых и мокрых дней в прожитой жизни видимо-невидимо, а ушибам на старом теле несть числа: и с комбайна падала, и лошадь сбивала, и бык бодал, и муж бивал... Проснувшись, Егориха отправилась в ординаторскую просить о выписке.

Как ни уговаривали, как ни убеждали врачи, настояла на своем и в тот же день отправилась домой. Предложили больничную машину — отказалась. Лишь оказавшись дома, убедившись, что хозяйство в порядке, скотина сыта, хормина прибрана, позволила себе лечь на старинную деревянную кровать.

Легла и уже больше не вставала.

Вот так собралась помирать Клавдия Петровна Хорошева, а по-уличному — бабка Егориха.

Уж такое это село, Подгорное. С незапамятных времен существовал в нем обычай прозывать замужних баб по имени мужей. Ежели муж Федот — Федотиха, если Егор — то Егориха, ежели Юрий — Юрьиха. Из старух одна бабка Паня не удостоилась деревенского прозвища. Она трижды выходила замуж, и не знали односельчане, кому отдать предпочтение: первому ли мужу Паньки — Филимону, погибшему на врангелевском фронте, второму ли — Никандру, лучшему сельскому кузнецу, случайно угодившему под поезд, или третьему — Харитону, геройски сложившему голову в степи под Сталинградом...

Егориха впервые в жизни прислушивалась к самой себе и впервые по-настоящему ощутила боль. Будто запихали внутрь свинцовую гирю, накалили с одной стороны и ворочали — то жжет в груди, то тряским ознобом прошибает. От частой смены жара и озноба гасли последние силы, и это было так непривычно и страшно, что Егориха взаправду уверовала в неизбежность скорой смерти. Стало так муторно на душе, что хотелось заголосить на все Подгорное тоскливым бабьим воем. Но реветь Егориха не привыкла и не умела. Она просто

лежала пластом на широкой вдовьей кровати, угрюмо уставившись в потолок, и вспоминала прожитую жизнь. А воспоминания, как в таких случаях бывает, наполнили одно горестней другого, веселое и хорошее как-то не припоминалось, будто его вовсе не было...

Гражданская война, с которой отец вернулся одноруким инвалидом, вечная забота о куске хлеба, дровах, сене для тощей коровенки, злобные попреки мачехи... Ох уж эти попреки! Они были вдвойне обидны: ведь Кланька, по сути, одна тянула захудалое отцово хозяйство.

Не дал бог Кланьке красоты, зато наградил отменным здоровьем, крепким телом, покладистым нравом и умелыми, сильными руками. Знать, это и приворожило Егора Хорошева, демобилизованного эскадронного командира, когда в двадцать пятом году добрался он до родного села аж из самых дальних амурских краев. Одарил он «вековуху» Кланьку шелковой китайской шалью, назвал женой, и по известному подгорненскому обычаю стала она Егорихой.

Вроде бы улыбнулось ей немудрящее бабье счастье, да не тут-то было... Родила Егориха в двадцать шестом году первенца Васятку, и на том дело почему-то заклинило. Наскитавшийся же по белу свету эскадронный командир мечтал иметь большую семью. Выпив, добряк Егор становился буйным и злым. Поносил жену площадными словами, а когда и давал волю рукам... Сколько горьких слезных ночей провела Егориха, сколько ходила по бабкам, ездила к городским врачам — никакого проку!

Поползла по швам наладившаяся было семейная жизнь. Посыпались прахом тайные бабьи мечты, и неизвестно, чем бы кончилось дело, если б не родила она в начале тридцатых годов двух сыновей - погодков, Пантелея и Григория.

Тут как подменили мужика. Перестал Егор пить, утихомирился, остепенился. За всю дальнейшую совместно прожитую жизнь не обидел жену ни словом, ни кулаком. Зажили по-людски, поставили небольшой, но уютный домишко на главной подгорненской улице, подразбогатели хозяйством. Жить да жить! А тут вдруг финская война, а следом и другая — долгая, кровавая...

Как вновь надел Егор осенью тридцать девятого армейскую шинель, так и не снимал до сорок пятого. Эти годы, прожитые в одиночестве, с тремя детьми на руках, Егориха не желает вспоминать даже сейчас.

До сорок третьего еще как-то билась. Сначала спасали довоенные припасы, домашняя живность, потом подросший Васятка пошел в трактористы и добывал кое-что для дома. Но в сорок третьем не стало и этого ненадежного кормильца. Сговорившись с товарищами, ушел Васятка добровольцем на фронт. Тогда-то и порешила Егориха последнюю спасительницу буренку Зорьку — украли с покоса сено. А потом беды посыпались, что картошка из кошелки: капусту гусеница извела, картофель от дождей вымок, огурцы из-за ранних инеев вымерзли, а в колхозе на трудодни выдали, почитай, одни бумажные справки...

Младшие сыновья росли хворыми, непроторными. Крестьянская работа не шла к их рукам. Не было толку от них ни на огороде, ни на колхозном поле. Дров ленились наколоть, печь истопить... Бранилась Егориха, грозилась,

уговаривала — как с гусей вода. Приплетется вечером с поля, а они сидят на нетопленной печи — два бледных галчонка — и ждут, чем мать покормит. Вспомнить — сердце переворачивается. Как выдюжила до конца войны, Егорихе и сейчас непонятно...

В сорок пятом почти одновременно вернулись домой Егор и Васятка. Хоть и раненые, хоть и битые-перебитые, а все-таки живые. И было в том великое Егорихино счастье, ибо в редкой подгорненской избе не голосили в то лето бабы, оплакивая последние выдуманные надежды на возвращение кормильцев.

Словно второе солнце взошло над Егорихой. Взбодрилась она душой и телом, вынула из сундука залежавшиеся девичьи наряды, впервые за многие годы накинула на плечи свадебную шелковую шаль. Все кипело, ладилось в ее проворных руках.

К той поре подгорненский колхоз стал совхозом, и Егор устроился в нем бригадиром строительной бригады, а Васятка трактористом. Хоть и нелегкими были первые послевоенные годы, а все жизнь красней казалась: не одна так не одна, есть на кого опереться. О хлебе насущном в семье прежней заботы не стало, зато появились другие...

Младшие сыновья подрастали, и решил Егор — золотые плотницкие руки — осуществить давнишнюю мечту: построить настоящий семейный дом, в котором самим, и будущим внукам было б просторно, уютно.

Егориха не возражала. Оно и понятно: приспела пора жениться Васятке, да и младшие как-то незаметно, но дружно подались ввысь, раздались в плечах, порозовели.

Сказано — сделано. С помощью многочисленной хорошевской родни заготовили лес, вывезли, срубили сруб, и вскоре вырос на главной подгорненской улице огромный крестовый домик, аж на восемь окон с парадной стороны. Рядом с прежней трехконной избенкой возвышался этот дом настоящим дворцом.

Ясное дело, забот Егорихе хватало. И все же главным помощником Егору стал Васятка. Видать, по наследству передались ему мастеровая отцовская хватка и неистощимое материнское трудолюбие. После рабочего дня не брезговал ни топором, ни штукатурным мастерком, ни лопатой. Радовалось материнское сердце, гляючи, как спорится в сыновних руках всякое дело, как с песнями и прибаутками перехватывает он у израненного отца тяжелую работу. Как тут не радоваться!

Да только свихнулся старшенький...

Был Васятка характером в отца — добрым, совестливым, а во хмелю таким же неудержным на язык и скорым на руку. И всяк в селе знал, что, ежели подгулял Васька Хорошев, быть уличному скандалу, а то и доброй драке. Уж таков он: не стерпит обидного слова, полезет грудью в защиту задетого товарища.

Как тому и следует быть, после нескольких потасовок занялась им милиция. И может, осудили бы парня, да учли его боевую юность, добрую рабочую репутацию.

Повторно испытывать судьбу Васятка не стал. В ту пору часто писал ему фронтовой друг из далеких сибирских краев. В каждом письме приглашал к себе, хвалил шахту и заработки. Вот и двинул Васятка в те далекие места. Как говорится, от греха подальше...

Было это сильным ударом для Егорихи, но еще более тяжким для Егора. После отъезда старшего сына как-то враз сник бывалый солдат, уж без прежнего азарта постукивал вечерами топориком в новом доме, часто курил в задумчивости и уж совсем без прежнего удовольствия выпиливал нарядные деревянные кружева для надкарнизников. Видела это Егориха и страдала вдвойне.

«А все Васька, будь он неладен,— копила в себе горечь на первенца Егориха.— Варнак! Сгубил отца, бесстыжий, боднул в самое больное место!»

И как накаркала.

Егор и в самом деле занедужил, на несколько месяцев слег в госпиталь, а там — отправлен на пенсию. Одиннадцать фронтовых отметин на теле с каждым днем все сильнее заявляли о себе. И, однако, вернувшись из города, не позволил себе раскиснуть, с упрямым ожесточением взялся за достройку хоромины. Будто спешил Егор завершить заметанные при жизни задумки...

Через два годка прикатил в свой первый и последний отпуск Васятка. Прикатил все такой же веселый, бесшабашный, безотказный. Хвастал почетным шахтерским значком, толстым бумажником и дорогими подарками. Горбатого могила исправит! Что тут поделаешь... Заглушила свою горечь Егориха, не попрекнула сына обидным словом.

Да и как попрекнешь: подарки те были куплены с умом, бумажник опорожнил Васька в отцовы руки, выпил лишь по приезде, без баловства, а на другой день засучил рукава и взялся за работу.

За полтора месяца Васятка с воспрянувшим Егором проворотили столько дел, что в былое время хватало б на год. Оштукатурили по-городскому стены, побелили, покрасили, пустили под масло полы, подоконники, двери, навесили забытые резные наличники и кружевные надкарнизники. А под послед так раскрасили дом, ворота и наличники с подкарнизниками, что и из соседних деревень поглазеть приезжали. Уж больно баская стала хоромина. Загляденье!

Возрадовалась Егориха, возгордилась тайком, обмякла материнским своим сердцем. Да, видать, поторопилась...

Под конец отпуска опять свихнулся Васятка. Наведался к школьным и фронтовым приятелям и подхмелился так, что сам себя потерял. Такого натворил, что и в дурном сне не приснится. Пырнул ножом бывшего колхозного кладовщика Ваньку Хорошева, а потом, завалившись к нему в дом и не найдя там Ваньки, чуть не насильничал его жену Нюрку.

Такова была молва, а как было на самом деле — неведомо. Ибо ничем не оправдал себя Васька, ни единым словом.

Как очухался утром, как услышал про вечернее — подхватил чемоданишко и, не поглядев никому в глаза, утек на свою шахту.

А можно было что-нибудь сказать. Хотя бы близким. Ведь село не город.

Тут каждая семья, каждый человек у всех на виду. Случись у кого скандальное дело — годами живет уличная молва, прочно прилипнет к семье печать заслуженного, а то и незаслуженного срама. Сам уехал, а позор-то, пересуды отцу с матерью остались...

Ваньку Хорошева в семье не любили. Хоть и был он каким-то дальним родственником Егору (подгорненцы шутят: «Брось палкой в любое окно — в родственника попадешь»), настолько перепутались в селе семьи Хорошевых, Рюмкиных да Скорыниных), не терпел его и сам Егор, а о жене и говорить нечего. Хитрым, бессовестным мужиком был Ванька. В начале войны выдумал себе какую-то болезнь и сумел избежать призыва в армию. Здоровенный краснорожий бугай пристроился кладовщиком, да так и просидел им все военные годы. Ни телом не опал, ни рожей не побледнел. Люди бедствовали, а он таскался по бабам, поворовывал потихоньку — жил в свое удовольствие. И никакая комиссия не могла словить его — умел сводить концы с концами.

Каким образом скрестились их с Васяткой дорожки и о чем они толковали в тот вечер — так и осталось неизвестным. Ванька помалкивал и при всей своей подлости в суд подавать не стал. Тупой столовский нож лишь слегка прошелся по его сытым ребрам, да и понимал Ванька: предай дело гласности, потащат куда надо свидетелей-односельчан — такое может всплыть, что лучше от греха подальше.

А с Нюркой и того проще. С девок блудящей была. Почитай, всех желающих подгорненских мужиков — кого тайно, а кого и открыто — принимала. И с Ванькой жила нерасписанной.

Примерно на такой манер рассуждала Егориха, стараясь оправдать в своих глазах сына. Но боль не проходила. Как и чего ты ни думай, люди судят по-своему. Нехорошо было Егорихе, а Егору, видать, и того хуже. Запрятался он в красавце тереме. Старался на людях не маячить. Все молчал, да кашлял, да дымил вонючими папиросами.

Пыталась Егориха расшевелить мужа, завести по вечерам обычную семейную беседу — ничего не получалось. Смирено и скорбно погладит Егор рано поседевшую голову жены, вздохнет, вот и вся беседа... Никакой слезой тут делу не пособишь. Только расстроишь израненного человека.

Как жил последнее время, так тихо, молчком и помер Егор. Случилось это весной пятьдесят третьего... Хоронили капитана Егора Хорошева всем селом. С оркестром, с речами и с живыми, за большие деньги купленными казенными цветами.

Подломила беда Егориху. Но не сломила. Жизнь пошла своим чередом. И поскольку Егориха оставалась живой в этой жизни, надо было и жить по-человечески. Егориха не мучила себя бестолковыми, надуманными вопросами о цели существования. Если ты жив и здоров, ежели способен и привычен к какому-то делу, то делай его на совесть.

Сначала помогала встать на ноги младшим сыновьям. Потом, когда они окончательно оперились, обзавелись семьями, жила, как живут мудрые и долговекие деревенские старухи. Всегда у нее имелась куча забот и

обязанностей: перед коровой, курами, старыми Топсей и Гаем, забота о заболевшей Пане или занедужившей Юрьихе.

И так день за днем пятнадцать лет — блюла себя, дом, хозяйство и никогда не задумывалась: ради чего, ради кого?

А вот теперь лежала пластом на вдовьей кровати, вспоминала самое горькое в своей жизни и думала: зачем, к чему, кому? А еще прислушивалась к своему измученному телу и удивлялась этой измученности, коей никогда не знала. Вот как она, оказывается, приходит, старческая смерть!

2

Задушевные товарки, бабки Паня и Юрьиха, запаниковали. И так и сяк пытались расшевелить Егориху, вернуть ей обычную живость — ничего не получалось. Лежала Егориха, вперившись в потолок, и молчала. Только по серым выцветшим глазам, что подернулись влажной поволокой, можно было догадаться, что переживает старуха.

Паня с Юрьихой были не только стародавними подругами Егорихи, но и родственницами. Юрьиха свояченицей (ее муж приходился сводным братом Егору), а Паня двоюродной сестрой. Но не родство связывало старух. Шестьдесят с лишним лет совместно прожитой жизни за забор не выкинешь. Вместе хороводились в девичестве, гуляли друг у друга на свадьбах, нянчили друг у друга детишек, вместе мыкали военное горе, заодно горевали при бесчисленных напастях, сваливавшихся то на одну, то на другую, вместе и весельем делились.

Паня с Юрьихой были старше на два года, но уж так повелось, что верховодила всегда Егориха. В былое время могла вовремя приструнить любвеобильную Паньку, поддать перцу застенчивой Юрьихе. Артельная, смекалистая Егориха и на работе всегда была вожаком. В довоенное время состояли телятницами на колхозной ферме — командовала Егориха, попали в овощеводческую бригаду — командир тот же. Десять лет назад построил совхоз несколько теплиц под ранние огурцы — звеньевой опять-таки оказалась Егориха.

Видать, ей на роду было написано командовать. И утешать приходилось ей же.

А теперь более слабым приходилось утешать более сильную. Было это столь непривычно для Пани с Юрьихой, что, несмотря на всю свою многоопытность, не могли они придумать ничего путного. И о совхозных новостях рассказали, и подгорненскими сплетнями поделились, и о базарных ценах поведали — ничто не трогало Егориху. Уставилась затуманенными очами в потолок, будто напрочь улетела из этого мира.

К старости когда-то ядреная красавица Панька усохла наполовину, прямой прехорошенький носик заострился, покраснел, а во рту осталось всего шесть передних зубов — три сверху и три снизу. От этого походила теперь Паня на

мышку-норушку, смеясь, конфузливо прикрывалась сухонькой ладошкой. Извечная же скелетина Юрьиха, наоборот, с годами расплзлась вдоль и поперек, из пухлых щечек веселой морковочкой поглядывал курносый носишко, а целехонькие зубы совсем по-молодому форсисто блестели из-за непоблекших губ. Зная это, Юрьиха, при всей своей застенчивости, не стеснялась смеяться к делу и без дела и от того, пышная да розовая, походила на сувенирную матрешку, что продаются в городских подарочных магазинах.

Сейчас, притихшие и испуганные, сидели они — мышка-норушка и матрешка-подарушка — возле сломавшейся товарки, и было им не до смеха. Видно, и впрямь пришел смертный час Егорихе. Наконец тихоне Юрьихе пришла в голову удачная мысль.

— Слушай-ка, Егориха, а как же ты с домом-то, с усадьбой, а? Со сберкнижкой как? — боязливо поинтересовалась она, ожидая полнейшего безразличия и оттого пугаясь еще больше.

— С домом? — Егориха повернула лицо к подругам, и во взгляде ее появилось осмысленное выражение.

— Ну да! — обрадованно затараторила Паня.— Как же с хозяйством-то? Оно у тебя, почитай, самое крепкое в Подгорном. Им же распорядиться надо! Не пускать же по ветру такое добро...

— И книжке хозяина определить...— поддержала. Юрьиха.

— А-а, книжка...— вяло отмахнулась Егориха, все еще плохо соображая, о чем идет речь, но уже встревоженная тем, что вот надо было сделать что-то неотложное, а она не сделала, оплошала.

— Да ить как это все бросить? — совсем обойчала Паня.— И коровушка у тебя славнюшшая, курочки ноские, поросеночек, гуси...

— И деньги у тебя не завалышшие, собственными руками зароблены,— упрямо повторила скуповатая Юрьиха.

Теперь Егориха уже ясно понимала, о чем речь. Насчет «самого крепкого хозяйства» Паня, конечно, перехватила, и Егориха пропустила это мимо ушей, и сберкнижка ее мало волновала, она о ней совсем забыла, а вот упоминание о доме сразу вышибло из состояния безразличия. Как же это она могла допустить такое? Забыть предсмертную мужеву волю. Ах, неладно получается. Стыдобушка-то какая!

Хозяйство — бог с ним! Дело наживное. И книжкой распорядиться просто. А как быть с красавцем-теремом? Даже помирая, не терял Егор надежду, что станет новый дом родовым хорошевым гнездом, что если не сыновья, то внуки поселятся в нем, продолжая старинную трудовую династию Хорошевых. Просил беречь дом, не спихивать чужим людям. А она о том забыла.

— Ежели записать усадьбу на Гришку с Пантелеем, то ведь продадут, окаянные...— сочувственно вздохнула Паня.

— Еще бы! На такую красоту кто не позарится!— подтвердила Юрьиха.— Город вон рядом: только шумни — воз покупателей нагребется. Шальные деньги отвалят. Чево тут сберкнижка...

— Продадут, идола,— печально согласилась Егориха, тревожась все

больше.— Продадут! Их крали в момент богатых торгашей сыщут.

— Сышшут,— убежденно сказала Паня.— Чево им... Не их руками роблено. А шары завидушшие...

Напоминание о доме вернуло Егориху в мир обычных забот и тревог. А очутившись в привычном мире, она уже не могла думать о себе. Вроде бы и боль в груди поутихла, перестало бросать из жара в озноб, откуда-то взялись силы, и она даже сумела сесть...

— Так чево же теперича делать-то, девки?

— Кто ево знат...— пожала худыми плечами Паня.

— Да-а... Дела! — пригорюнилась и Юрьиха.

Обе они, и Паня и Юрьиха, не хотели расстраивать Егориху — не упоминали про Васятку. Знали, сколько обиды скопила она на старшего сына. Да и что толку поминать: давнехонько отрезал себя Васька от Подгорного. Глаз не показывает. Даже отца хоронить не приехал. Сослался на какую-то хворость. И после того окончательно пролегла меж ним и матерью глубоченная яма-неперейдиха.

Притихли старухи, призадумались. Егориха опять откинулась на подушку. Словно бы чувствуя неладное, выглянул с печи старый кот Топся, несколько раз жалобно мяукнул. Не дождавшись внимания, замолк, уставился на хозяйку тревожными глазищами-светофорами.

— Сколь же у тебя на книжке-то? — нарушила молчание Юрьиха.

С давних времен, когда было Подгорное селом старательским, когда почти все мужики промышляли золотишко и редкий камень, прижился в селе обычай не интересоваться чужим капиталом. Считалось: кто хвастает деньгами, тому не будет форта ни в старательской, ни в другой работе. Уже давно исчезла былая зависть к чужой удаче, давно перевелись рудознатцы-промышлятели, а обычай остался. И будь в нормальном здравии, ответила б Егориха нескромнице, как отвечают все подгорненцы: «Какое у меня богатство! Есть малость. На похороны хватит — и на том слава богу!» А сейчас ее мысли были заняты заботой о Егоровом завете, и потому откликнулась равнодушно:

— Около пяти тыщ...

Ответила так, ничуть не тревожась, что о ней подумают. Сбережения честные, своеручные. Последние годы овощеводы зарабатывали хорошо. Грех бога жалобой гневить. С зимы до осени в теплицах, а осенью на ферме, когда подменяли уходивших в отпуск доярок, зарабатывали и Егориха, и Паня, и Юрьиха шибко прилично даже для нынешних сытых времен. Было с чего сберечь на черный день.

К тому же не брезговали подгорненцы приторговывать излишним молочком, яичками, зеленью с огородов, когда наезжали летом городские дачники. Не брезговала и Егориха: отчего не продать, если есть излишек? Тем более наработан он своими натруженными руками, и больше положенного ты за него не берешь...

Чтобы взять лишку, скрохоборничать — надо потерять к себе уважение. На том всегда твердо стояла Егориха, и о том знало все село.

Товарки не удивились ответу Егорихи (может, у самих было скоплено не меньше), лишь вздохнули по-разному.

— Для тебя хватит, а энтим, городским, все равно мало будет,— сказала Паня.

— А я думала, у тебя больше,— призналась Юрьиха.— Робить — за тобой кто угонится!

— Так чево же теперича делать-то, девки? — мучаясь своей заботой, повторила Егориха.— Ведь Егору слово дадено!

— Дадено! — вдруг вскипела Паня.— А для них, для сынов-то твоих, отцово слово не закон, что ли?

— И то! Ежели разобратся! — поддакнула Юрьиха.— Чать, не семеро по лавкам, не пустую водицу хлебают!

— А-а... Какие им, городским, отцовы законы,— печально отмахнулась Егориха.— У них свои законы!

— А чо городские? — неожиданно обиделась Юрьиха.— Городской городскому не ровня. Всякие есть! — У нее единственный сын служил офицером на Севере, но она считала его «городским».— Это у снох твоих свои законы, а Гришка с Пантелеем под их дуду пляшут!

— Ну, бабы городские тоже разные есть! — уязвленно вмешалась Паня.— А ежели Пантелей с Гришкой пляшут, то другие бабы тут ни при чем! — У Пани от всех трех мужей было по дочери, и все они давно разъехались по разным городам.

— Ни под чью дуду они не пляшут,— мрачно оборвала перепалку Егориха.— Под свою собственную!

И Паня с Юрьихой опять замолчали, притихли, жалея в душе товарку.

Как не пожалеешь! Сама безотказная, справедливая баба, муж был по всем статьям хорошим мужиком, а вот с детьми не повезло. Не баловали, не нежили, нечистому делу не обучали, а нет же: одного повело на хмельное зелье, а потом вынесло из родного села бог весть куда, двое других вроде бы люди как люди, а тоже с червоточиной. Вроде бы не в Подгорном родились, не от порядочных отца с матерью. Живут своей жизнью, и нет в этой жизни надлежащего места для родной матери. Думают не о том, чтобы что-то ей дать, чем-то подсобить, а как бы чего с нее урвать. Неужто так перемолола их городская жизнь, что ничего не осталось от родительской закваски? Другие-то ребятишки, в том же городе обучаясь, выросли нормальными мужиками.

— Так чево же теперича делать-то, девки? — глухо повторила Егориха.— Помру — все прахом пойдет. Все Егоровы и мои труды, вся жизнь впустую...

— Как енто впустую! — снова вскипела Паня.— Ешшо не хватало! Надо с умными людьми посудачить. Ныне образованных-то пруд пруди! Законы знают. Хошь бы с Митькой Скорыниным. Ученый. В суде свой человек. Он те такую бумагу сварганит — никто не нарушит!

— Правильно! — всплеснула пухлыми руками Юрьиха.— Правильно! Завешшанию никто перечить не станет!

— Это как же завешшанию? — изумилась Егориха.

— А так! Какую бумагу оставишь — так тому и быть. Митька, он мастер по такому делу. За то деньги получают!

Вновь села Егориха на кровати. Опустила на половик босые ноги.

— Вот так с ними и надо, с самоуправщиками! — продолжала кипятиться Паня.— Чтобы уважали родителю волю!

— Так как же это без совету, без согласия? — заколебалась Егориха: мысль о завещании была для нее нова и неожиданна, но практически своим умом она уже поняла, что в бумаге такой должен быть какой-то резон.— Не чужие же мы... Можно и полюбовно договориться. А то сразу к Митьке!..

— Договорись, как жа...— поджала непоблекшие губы Юрьиха, но, подумав, примирительно вздохнула:—Хотя чем черт не шутит... Давай сынам весть, пушшай приежжают...

— Чево же я им писать-то буду? — растерялась Егориха.

— А енто не твоя забота,— сказала Паня.— Моя племяшка Ленка, что на почте робит, такие енто... как их... телеграммы сочинит... Мигом припрутся!

3

Телеграммы ушли в тот же день, но не помогли почтовые старания сочинительницы Ленки. Вместо сыновей заявили те, кого менее всего хотела видеть Егориха. На третий день с утренним автобусом прикатили из города жены Пантелея и Григория, а на четвертый вечером появилась третья сноха — Васькина сибирячка из неведомого Прокопьевска, которую Егориха никогда не видела.

— Здравствуйте, мама! Я — Люба.— Всплеснула белыми ручонками.— Да что же такое с вами стряслось? — И сунулась целоваться.

Но Егориха загородилась локтем, спросила глухо:

— А где Васька?

— Нет его дома...

— Куда подевался?

— По обмену опытом он... в Польше. Уже два месяца. Должен вот-вот вернуться... Я управляющему сообщила, а сама — в Кемерово. Оттуда в Новосибирск, а там на сутки из-за непогоды застряла...

— Ладно,— с горечью оборвала Егориха.— Располагайся. Садись вечерять.

И белобрысая сибирячка сразу как-то скисла, вжала голову в плечи, подалась в сторону, как бы желая спрятаться за тучной Юрьихой.

Не приехали сыновья! Григорий отдыхает где-то на южном курорте, Пантелей получил какую-то высокую должность в автотресте и укатил в Москву представляться республиканскому начальству, а Васька, оказывается, шастает по заграницам, и никому из них нет пути-дороги к родной матери.

В доме по-вечернему сумеречно. На улице разгулялась осенняя лихомань с мелким дождем и пронзительным ветром. Слышно, как барабанит в окна

холодная морось да из своей конуры изредка твякает дряхлый Гай.

Женщины чаевничают и ведут неторопкую беседу.

Собственно, говорят в основном двое: Варвара — жена Пантелея и Нина Всеволодовна — жена Григория. Паня с Юрьихой хозяйничают у самовара, а сибирячка, сжавшись комочком, тихо притаилась в углу и отчужденно помалкивает, побалтывая в стакане ложечкой. Как «мамкнула» один раз по приезде, так и замолкла. Лишь изредка перекинется словом с хозяйничающими бабками.

Егориха искоса рассматривает притуманенное вечерними тенями лицо старшей снохи и старается угадать, что она думает. И старухе ясно видится: «Нравится вам или не нравится, но я прикатила! А разговаривать с вами и не о чем, и не хочется. Я своей доли наследства и молча дождусь. Мое от меня никуда не уйдет. Вот так!»

«Выдра крашенная... Гладенькая! Небось в уме уже все подсчитала,— без особой злобы, однако, думает Егориха.— Небось уже прикинула, что куда истратить».

— Напрасно ты, бабка, в прошлом году дом не продала,— низким, грудным голосом произносит Варвара, адресуясь к свекрови.— Переехала бы в город. Что за радость здесь одной-одинешенькой хребет ломать. Что, мы б тебе куска хлеба не нашли, лежанку не соорудили?

Егориха не обижается. Варваре и в голову прийти не может, что престарелому человеку, кроме хлеба и лежанки, может потребоваться что-то еще. Уж так она устроена, Варвара. Прочно, устойчиво, но грубо и примитивно, как казенный забор из необрезных, нетесаных досок. Дородная, грудастая, крепко скроенная, она мощно дует в блюдце и ждет ответа.

Егорихе отвечать не хочется. Она думает о своем.

С ребячества не называл ее Пантелей мамой. «Ма... мам» — вот обычное его обращение. «Ма! Есть хочу... Мам, подкинь денжат!» Когда родился у него первенец, приехал Пантелей хмельным, веселым. Грубовато похлопал мать по плечу, похвастался: «Сын родился. Так что теперь ты бабка!» И как приклеил это в общем-то не обидное слово. Никто в семье Пантелея к Егорихе иначе не обращается. Так именуют и сын, и Варвара, и их горластые сорванцы.

— Ты что, бабка, уснула или обиделась? — окликает Варвара, и выпуклые рыбы глаза ее удивленно округляются.

— Да нет... вечеряйте себе! — отмахивается Егориха.

Вот так, бесцеремонно и прямолинейно, устроено все в семье Пантелея. Если приезжают осенью за зимним припасом, то в доме дым стоит коромыслом. Оба внука тотчас устремляются в огород, пихают в рот все съедобное, попавшееся на глаза. Егорихе не жалко. Парнишки как парнишки, здоровые, бойкие — по десятку штанов за год изорвут, аппетит завидный. Ешьте на здоровье. Но зачем же топтать и мять все без разбора, по-дикому, по-разбойному — хошь горох, хошь лук, хошь капусту! Не столько съедят, сколько напакостят. Ругалась Егориха, хворостиной гоняла внуков, да куда там — разве за такими пострелами уследишь! Они хотят — и все тут!

Корила Егориха сына со снохой, выговаривала. Без толку. Пантелей похохатывал: «Не жадничай!», Варвара еще ясней резала: «Не шуми, бабка. Мы за воспитание отвечаем. Так что не твоя забота!» А как Егорихе не заботиться, когда сами Пантелей с женой недалеко от сыновей ушли.

Приедут на казенной машине, сколько тары есть, нагребут картошки, напихают в сумки морквы, лука — и были таковы. Да как напихают: с ботвой, с пожелтевшими скрючившимися перьями. Не по-людски, без огляда, с какой-то загребастой поспешностью. Срам смотреть!

Как-то прознал Пантелей, что заколола мать кабана-годовичка. Прикатил: «Дай ляжечку на окорок!» Не хотела Егориха в тот раз давать. На продажу предназначался кабанчик. Так и сказала. Удивился Пантелей, вытаращил зеленые — точь-в-точь Егоровы — глазищи, поперхнулся сигаретным дымом. Не устояла. Отрубила ляжку. Все-таки сын, родная кровь.

— Жить здесь никто не собирается,— аппетитно отдуваясь, почти по-мужски баритонит Варвара.— Мы с Пантелеем думали-думали...— И бесхитростно поправляется: — Я что... Я тут сбоку. А только он такого мнения: дом продать. О бабке, разумеется, побеспокоиться. Всем побеспокоиться, на кого-то одного заботы не сталкивать. Место ей определить постоянное. И тому, кто содержать будет, помощь оказывать. Заранее оговорить, что к чему и почем...

«Ишь ты! Место определить...— внутренне ежится Егориха. Ей понятно, что Варвара твердо уверена: свекровь будет доживать последние дни у нее и потому заранее выговаривает себе преимущества.— Нет, ты тут не сбоку!»

А самое основное, понимает Егориха: что бы ни говорили снохи, на уме у них другое. Пока не известно, как сибирячка, а уж Варвара-то с Ниной Всеволодовой наверняка прикатили, чтобы следить друг за другом, вывести взаимные намерения. Уж так повелось у младших снох: не верят друг дружке ни на грош.

Вспоминается Егорихе, как гостила у среднего сына. До сих пор старым своим умом не может уяснить, как это можно хлестать водку взаперти, без людей, без всякого веселья. А Пантелей такой. На людях трезвенником прикидывается, а сам...

Не раз видала, как приходили к сыну какие-то мужики с просьбой помочь запчастями. И это понятно Егорихе. Уж так оно, сколько ей помнится, получается у всех людей, что при машинах состоят. Завсегда что-то ломается, завсегда ищут какие-то железки, которых вечно не хватает. Такая уж, видать, планида механизаторская.

А Пантелей не такой. Этот никого не ищет. Его ищут.

Выставят просители на стол поллитровку — замашет ручищами: «Что вы, товарищи! Вы же знаете, что я непьющий! Нет, увольте!» Гости просят, а он кочевряжится. Все-таки завсегда его уговорят. Согласится со вздохом, пообещает помочь. Кивнет на угощение: «Сам я, разумеется, потреблять не буду, но кладовщику и завгару с механиком поставить придется...»

Обрадованные просители, понятное дело, тут же живехонько засобираются

в гастроном, но у Пантелея и тут готова отговорка: «Нет, нет! Что вы! Как я с таким грузом в гараж!..»

Мужики по этой части народ шибко понятливый. Тут же на столе появляется синяя или красная бумажка.

Уйдут просители — Варвара хватает деньги, а Пантелей бутылку.

И непонятно, и горько видеть такое матери. Попробовала как-то вразумить сына. Тот рассердился: «Эх, деревня-матушка! Отсталый народ. Привыкли пахать да пахать! А нынче кроме хомута еще и голова требуется. Хочешь нормально жить — приспособляйся. Я сам просить хожу, и задарма никто ничего не дает. Сколько лет о «Волге» мечтаю, а кто мне ее подарил? Пока сам не скоплю на машину, не видать ее как своих ушей. А своя машина...» — И мечтательно закатил глаза к люстре.

Какой матери не хочется, чтобы у сына была своя автомашина! И Егориха не против. Но не таким же манером... «Ну и копи, но к чему этакую комедь ломать? Людей нужда приперла, а ты ерничаешь... Ведь полон сарай этих железок. Взял да и отдал бы сразу...» — «А это уже не твое дело, бабка! Знаю, когда надо,— еще больше рассердился Пантелей.— Не понимаешь— не лезь!» — «Да бог с вами, живите как знаете! — не захотела ссориться Егориха.— Только какая это жисть? Водку тайком лопаешь... Ково обмануть хочешь?» — «А тебе что, хочется, чтобы начальство меня пьяницей считало? Нет, дудки. Я и без свидетелей могу. Не век же мне в начотделах сидеть. Какие мои годы! Подожди, еще повышение получу, ну и оклад соответственно... Тоже не помешает». — «Не суйся, бабка, в чужие дела! — крикнула с кухни Варвара.— Не глупее тебя, поученее!»

Что правда, то правда. Ученее. Вот живут только непонятно. Сами себя обхитрить хотят. И никак не находят у Егорихи слова, чтобы объяснить эту непонятность. Не нашлись они и в тот раз.

Работала раньше Варвара акушеркой. По Егорихиным понятиям, на чистой, почетной работе. Уволилась. Отгрохали в саду стеклянную оранжерею, завели цветник. Теперь выращивает Варвара цветы. Торгует ими на рынке или у стадиона. Ничего не скажешь, красивые цветы. С заковыристыми названиями. Но зачем тогда училась, приобретала специальность? Или нет к себе никакого уважения? А ежели нет к себе, то откуда ему быть к другим?

Обо всем этом давно думано-передумано, и потому мучается сейчас Егориха душевной пустотой, и нет в ней настоящего интереса к разговору за вечерним столом. Будто он ее и не касается.

— Тут и толковать не о чем. Все ясно, как божий день,— продолжает председательствовать Варвара.— Никакого другого выхода нет. Надо продавать.

— Разумеется. Григорий Егорович тоже такого мнения.

Это уже Нина Всеволодовна. Она при посторонних даже мужа величает по имени-отчеству. Вежливая дамочка. Сама тоненькая, красивенькая, причесочка кукольная. Ну сущий ангелочек. Глазки карие, томные, губки бантиком, ноготочки на тонких пальчиках розовенькие, опрятные — поглядеть приятно. Не женщина, а елочная игрушка досталась Гришке. Но Егорихе от этого радости

мало. Она наперед знает, что и как скажет прелестница сноха.

— В такой ситуации очень важно подыскать достойного покупателя,— продолжает Нина Всеволодовна, и по ласковым, кошачьим ноткам, зазвучавшим в ее голосе, Егориха догадывается, что она подбирается к главному.— У Григория Егоровича знакомый профессор давно ищет дачу. Если попросить, то он, пожалуй, согласится поговорить с этим ученым мужем.

— Чего ему кланяться...— настораживается Варвара.— Без профессора обойдемся. Знаем мы этих ученых. Не такие дураки — не раскошелятся. Хорошего торгаша подловить, тот отвалит так отвалит. Это не институтские скряги. Понравится дом — за лишней тысячей не стоит.

— Фи! — надувает губки Нина Всеволодовна.— Торгаша... Все-таки у профессора есть какое-то эстетическое чувство. Он сможет оценить красоту отделки, искусство строителя. Поблагодарит. И к тому же Григорий Егорович все это сможет оформить без лишнего шума, без базарного торга. Одним словом, деликатно и благородно.

— Знаем мы это благородство! — рубит Варвара.— Вы с Гришкой тихой сапой себе выгоду ищете. Вот и вся деликатность!

— Как вы можете так, Варвара Кирилловна! — плачущим голосом восклицает Нина Всеволодовна.

— А вот так. Могу! — режет Варвара.— Знаем мы вас. Делай из своего Гришки хоть академика, но только не за наш счет. Тут у тебя ничего не выгорит. Не на тех нарвалась.

Вот из-за этой, хоть и нахрапистой, прямоты Варвара как-то понятней Егорихе. Какую ни есть, а говорит правду. Тут не прибавить, не убавить.

Ничего не скажешь, красива, вежлива младшая сноха. Но с холодным сердцем живет. Все у нее заранее продумано, каждое слово со значением. Разговаривая с ней, Егориха всякий раз чувствует себя неуютно, настороженно, будто соприкасается с чем-то скользким, опасным.

Нет, не скажет Нина Всеволодовна грубого слова, не залезет бессовестным вопросом в душу, а все равно хочется держаться подальше...

Приезжая осенью в Подгорное, не торопится Григорьева семья нагрести торбы. Чего нет, того нет. И мешков не возят. Если запасаются овощами, то тщательно перемоют и морковь, и огурцы, лук очистят, картофель отсортируют, складут в красивые емкие сумки и диковинные заграничные рюкзаки. Но провожает их Егориха с еще большим облегчением, чем буйную Пантелееву ораву. А потом добрые сутки очищает огород и усадьбу от обрывков газет, кульков, бумажных салфеток и тряпок, коими протирала Нина Всеволодовна увезенное добро.

Так у них и в квартире. Обставлены комнаты красивыми дорогими вещами. Поглядишь в полировку — всего видать как в зеркале. А на кухне всегда куча грязной посуды, засохших объедков. Бережет Нина Всеволодовна крашенные пальчики и мокрую кухонную работу обычно норовит свалить на Григория, который тоже не дюжий охотник до такого дела.

И дочь у Григория не похожа на Пантелеевых сорванцов. Те прибегут из

школы грязные, взлохмаченные — уже успеют где-то футбол погонять — и с порога в один голос: «Бабка, дай порубать!» И едят все, что сварено, под метелку метут. Оттого мордастые да проворные. А эта тихая, бледная и до того худая, что, кажется, все косточки сквозь кожу светятся. На пианино играет, песенки поет. Вежливая девчоночка. Хорошим манерам обучена. Но от этой вежливости и хороших манер заходится сердце у Егорихи, и жалеет она внучку, как давно уж никого не жалела. Уж слишком сложной, недетской жизнью живет девчущечка.

По документам значится она Ритой. Маргаритой, выходит. Обычное имя. А отец с матерью почему-то зовут Магой. Мага! Что за имя? Чем-то смахивает на собачью кличку.

Как-то Егориха потянулась к девочке, чтобы погладить по головке. Но та отстранилась: «Этого делать нельзя. Можно испортить прическу. Лохматой ходить неприлично, а мне в музыкальную школу...»

И такое недетское и холодное послышалось в ее серебряном голосочке, что Егориха долго сидела на кухне, с трудом сдерживая обидные слезы. Как не быть обиде, когда нет внучончке девяти лет, а уже не находится у нее теплого слова к престарелой бабушке. Не обучена таким словам. А ведь бабке в самом деле искренне жаль внучку.

Егориха понимает, что жизнь пошла другая и появилось в ней нечто недостижимое ее старушечьему разумению. Но хоть какая новая иди жизнь, а человек остается человеком. Особливо дите. И тут никак не может примириться Егориха с Ниной Всеволодовной и Григорием.

Поначалу, когда закончили образование, жили Григорий с женой как все люди, без причуд. Все было к месту, по уму. А потом решила вдруг Нина Всеволодовна, что приспела пора мужу стать кандидатом филологических наук, — и поехало в их доме все вкривь и вкось. Преподавал парень в техникуме, был вроде бы доволен, а теперь пятый год корпит над какой-то диссертацией и никак не может ее осилить. Истощал, нервным стал. Чего греха таить, сама Егориха всем сердцем за то, чтобы стал ее младшенький ученым человеком. И то, что наука — дело нелегкое, тоже понимает. Но раз нелегкое, тут бы побольше спокойствия в доме, побольше заботы о себе. А у них, наоборот, все наперекосяк.

После окончания института работала Нина Всеволодовна экономистом проектной организации, на спокойной работе. Бросила. Устроилась на какую-то снабженческую должность, где времени свободного вдосталь. Теперь денно и ночью рыскает по городу в поисках дефицитных лекарств и еще чего-то для каких-то важных людей, которые могут поспособствовать Григорию пропихнуть эту самую проклятую диссертацию. Во всем себя урезают. Сидят на кашке да травке. А какая у мужика сила с травки? Не поешь — не сrobiшь положенного. Это для Егорихи такая же очевидная истина, как существование всего живого. Завсегда забота о сытном столе была у нее наипервейшей, а тут...

Зато раз или дважды в месяц созывает Нина Всеволодовна нужных гостей. Покупает вина с красивыми наклейками, дорогие колбасы, сыр и всякие неведомые Егорихе специи и закуски. Но покупает всего тютелька в тютельку. Махонький кусочек колбасы разделяет так, что выглядит на полную тарелочку.

С виду вроде бы все по чести, а ткни вилкой — один пшик. Много на столе тарелочек, а есть нечего — одна видимость.

Привыкшей потчевать семью и гостей на совесть, странно видеть такое Егорихе. Нечем кормить — зачем гостей звать?

На такие званые застолья Егориху, разумеется, не приглашали, а если случалось, что наведывалась она в эти дни повидать сына, то отсиживалась на кухне.

Но и оттуда все видно. Глядела Егориха и каждый раз дивилась одинаковости вечеров и одинаковой скуке на них.

Приходили гладкие, ухоженные мужчины с такими же гладкими, разряженными женами, пили из малюсеньких — с наперсток — рюмочек вино, рассуждали на непонятные Егорихе темы, вежливо улыбались друг другу. Потом Мага играла что-нибудь на пианино и пела одну или две песенки своим серебряным голоском. Гости вяло хлопали в ладоши, хвалили. Мага делала поклон и убегала в спальню. После этого гости снова пригубляли вино и принимались промывать косточки каким-то профессорам и деканам. Не хуже деревенских баб, сошедшихся на поскотине. А потом, посидев часа два-три, расходились, не забыв сказать хозяевам несколько приятных слов о вечере, который — уж Егориха-то видела — никакого удовольствия им не доставил.

И вспомнилось однажды Егорихе такое, что беззвучно засмеялась, не в силах сдержаться. Даже забежавшая на кухню Нина Всеволодовна, привыкшая не замечать свекрови, обратила внимание на ее веселость. Оскорбленно насупилась. Злыми, колючими огоньками вспыхнули карие глазки. «Что это так вас рассмешило?» — «Да так я... — отмахнулась Егориха. — Про себя. Давнишнее вспомнила». — «Не вижу ничего смешного, — тихо процедила Нина Всеволодовна, опасливо оглянулась на гостиную. — Собрались порядочные люди...» И, царственно вскинув красивую головку, с достоинством проплыла мимо свекрови.

А вспомнилось Егорихе действительно давнее.

Девчонкой, еще до первой мировой войны, каждое лето подряжалась она мыть полы в барской усадьбе, что до сих пор высится на окраине Подгорного. По рассказам старожилов, построил эту загородную усадьбу не то сам граф Строганов, не то кто-то другой, а потом переписал ее на своих обедневших родственников. Зимой проживали эти родственники не то в Москве, не то в Перми, а летом приезжали дачничать в село.

Представлялась тогда деревенским бабам и девкам возможность подработать на случайных работах, а местной подгорненской «знати» поважничать в обществе столичных гостей.

Так вот, бежала Кланька в усадьбу мыть полы и остановилась возле дома священника. Дочь священника Евдокия, а по-уличному — «попова Дунька», сидела у открытого окна и расчесывала рыжие космы. «В усадьбу, что ли, рядишься? — спросила Кланька и бесхитростно предложила: — А то айда вместе!» — «Иди своей дорогой, — важно надулась добродушная, но неумная Дунька. — Рано мне. Мы сегодня с семи вечера музицируем».

Кланька хотела спросить, что это такое, но раздумала — уж шибко спесиво выглядела Дунька. Пошла своим путем. Но незнакомое слово накрепко засело в голове, и Кланька всю дорогу старалась отгадать: что же это такое делается, когда люди «музицируют»?

Очевидно, это и толкнуло Кланьку на дерзкое. Закончив работу, выждала, когда опустеет двор, забралась на кирпичный фундамент и по узкой кромочке подобралась к открытому окну гостиной, откуда слышались голоса и музыка. Заглянула одним глазом.

Ничего особенного. Сидят себе на стульях и диванах приезжие студенты, гимназистки и их сельские гости, а тощая, остроносая девица играет на пианино.

Оглядев получше гостиную, увидела Кланька и Дуньку. Притулилась попова дочка в уголке, подперла румяную щечку кулачком и сладко спала, что-то жуя во сне сочным ртом. Показалась она Кланьке такой потешной, что не выдержала, прыснула в кулак. Ее счастье, что не услышали.

Кончила девица играть. Все зашевелились, заплодировали, зашумели: «Браво!» Вздрыгнула Дунька, ошалело завертела головой, потом опомнилась, тоже захлопала пухлыми ладошками и по-бараньи заблеяла: «Бра-а-а-во! Бра-а-а-во!» Тут уж смех совсем задушил Кланьку. Схватила она обеими руками за живот, не удержалась на узкой приступке фундамента и свалилась вниз, прямехонько в пожарную бочку с зацветшей дождевой водой.

Прибежала домой с господского «музицирования» мокрехонькой, но шибко веселой.

Давно это было, и Егориха напрочь забыла эту историю, а вот поглядела на Григорьевых гостей — вспомнила. И потом уже никак не могла отвязаться от мысли, что образованная Нина Всеволодовна ничуть не умнее недалекой поповой Дуньки...

— Картофель-то хоть выкопан?

Новый голос заставляет Егориху насторожиться. Это белобрысая крашенная сибирячка тихо спрашивает Паню с Юрьихой.

— Куды там! Кому копать-то! — досадливо вздыхает Паня.— Со своими усадьбами еле справились. Хотели сѣдня взяться, да вон непогодь разгулялась.

«А ведь в самом деле, в земле картошка-то!» — ахает про себя Егориха, впервые за весь долгий, тусклый дождливый вечер очнувшись от состояния опустошенности.

— Большой огород?

— Как у всех. Почитай, соток около двадцати...

— Лопатами копаете или плугом?

— Плугом, как сажали. Лошадь совхоз дает, а пахарев нету,— жалуется Юрьиха.— Уборка. Все мужики в поле.

«Что же это я, а? — ругает себя Егориха.— Развалялась, а картошка пропадай!» Мысль о том, что она опять не сделала дело, наполняет ее привычным беспокойством.

— Да. Много работы,— соглашается старшая сноха.— Надо копать.— И надолго замолкает.

«Без тебя знаем, что надо! — с раздражением думает Егориха.— Тебе хорошо языком-то болтать. Не натужно...» Много нехорошего, обидного услышала Егориха за сегодняшний вечер от младших снох, но сердится не на Варвару и Нину Всеволодовну — к их повадкам давно привыкла,— раздражает ее почему-то тихая сибирячка. «Ишь ты, шустрая! И картошку тебе выкопанной подавай!» — сердится Егориха, а рассердившись, уже не может лежать спокойно. Откуда-то берутся силы, садится на кровати, сбрасывает с одеяла мирно дремавшего кота.

— Так как будем решать, бабка? Что выдумала?— басисто интересуется Варвара.— Или поживешь еще?

«Поживешь!» — вот этого-то слова и недоставало Егорихе. Произнесла его сноха без всякого умысла, но словно хлыстом огрела.

— Поживу! — вдруг с вызовом произносит старуха.— Поживу! Отошла моя хвороба. Даст бог погоды, завтра картошку копать будем...

— Да ну...— недоверчиво шурится Варвара.

— Не запрягла — не нукай! — отрезает Егориха.

— Ну, коль так...— Варвара не сердится, она только немало удивлена.

Зато Нина Всеволодовна заливается злым румянцем, возмущенно пожимает покатыми плечиками:

—Но зачем тогда нужно было устраивать эту комедию? У нас дети, срочные дела в городе, мы бросаем все и мчимся, а тут... Вот и будь милосердной!

Егориха и не смотрит в ее сторону.

— Комедь или не комедь — время покажет,— хмуро говорит она и с неожиданной для всех властностью приказывает: —Вернутся Пантелей с Гришкой, пушай приезжают. Тогда и решать буду. Вот и весь мой сказ!

— Ого! — еще более удивляется Варвара.

Нина Всеволодовна молчит, прикусив пухлую губку. Она не подозревала такой силы и твердости в смирной свекрови.

А Егориха, высказавшись, в самом деле чувствует необычайный прилив сил и энергии.

— Ну-ка, Паня,— привычно командует она.— Взбодри самоварчик. Напоследок вместе со сношками повечеряю!

От этого откровенного приглашения к отъезду немеет даже громогласная Варвара.

Утром у Егорихи опять людно, хотя снох уже нет. Решается дело серьезное: как одолеть огород. Спозаранку сбегала почтовая сочинительница Ленка в контору насчет лошади и плуга. Директор совхоза не отказал, но пахаря выделить не смог. Да оно и понятно — осенняя страда.

Прослышав об этом, приковылял к Егорихе деверь — младший брат

покойного Егора, Никифор. Предложил свою помощь. А какой из него помощник!

В начале войны где-то под Москвой горел Никифор в танке, но так и не сгорел. Жив остался. А вот ног лишился. Прошла хирургическая пила немного ниже колен, да прошла нерасчетливо. Не то сильно утомлен был, не то неопытен хирург — только никак не пригодны оказались для ходьбы Никифоровы культы. Сколько ни валялся по госпиталям, сколько ни резали его вновь — будто бесову печать поставила та первая операция. Плохо заживала, медленно срасталась обожженная кожа. После ходьбы на протезах появлялись язвы и кровоточины.

Потому дома передвигался Никифор на коленях, привязав к ним самодельные кожаные подушечки, а на казенные протезы вставал лишь по праздникам да при большой нужде выйти на люди. Видать, важной счел он заботу Егорихи, коли приковылял через все Подгорное.

Сейчас сидит на пороге, вытянув неживые ноги, мрачно дымит «Севером» и не реагирует на воркотню всполошившихся старух.

— Додумался! Надо же! — шлепает себя по пышным бедрам Юрьиха.— Чем думал? Без тебя управимся!

— Ничем он не думал! — поддакивает Паня.— У него и голова-то, кажись, подгорела. Разве, подумавши, в такую даль попрешша?

— Эх, Никифорушка,— вздыхает Егориха.— Бедова голова — добрая душа. Да пропади пропадом вся картошка, лишь бы ноженьки твои не болели. Ведь случись что, мне твоя Мария да студенты твои старую голову сорвут... Ну какой из тебя пахарь! На ровном-то месте со слезой ползешь! Ах ты, божье наказание! Ленка! — командует она.— Беги в контору, попроси директоров «газик», пушай до дому добросят, а то доконает он ноги-то на возвратном пути...

— Сейчас! — с готовностью вскакивает девушка.

Ленка хороша собой, ну чистая копия былой молодухи Пани. Только головой посветлей (заочно в университете учится) да характером понастырней. Ладная, крепенькая, на любую работу годная. В деревнях про таких — кровь с молоком — девчат говорят, что на них пахать можно. Но сама Ленка, несмотря на деревенское воспитание, пахать не умеет и лошадей боится, как черт ладана, потому что лошадь — это не трактор и даже не мотоцикл, при случае лягнуть или укусить может.

— Сиди,— осаживает Ленку Никифор.— Поспешись — людей насмешишь. Я еще сгожусь.— Он разворачивает принесенный мешок, вытряхивает из него кожаные подушечки-самоходы, а также веревку, на конце которой болтается большущий железный крюк деревенской кузнечной работы.— У тебя уже сколько- то накопано? — спрашивает Егориху.

— А-а...— машет та рукой.— Вон девки на неделе накопили тридцать ведер... Под навесом лежит. Уж высохла...

— Во-о... И то дело. Спущу-ка я ее в голбец.

— Да, чать, сами управимся.

— Ты с собой управься, полезнее будет.

Спорить с Никифором бесполезно. Хорошевская порода. Сказал — отрубил. Молчун. С виду суров, а изнутри — добрейшей души мужик. Когда в сорок третьем привезли его первый раз из госпиталя на побывку, то многие бабы прочили, что отвернется от него невеста — первейшая подгорненская красавица, плясунья и хохотунья Мария Рюмкина. А получилось напереверт. Присохла она к инвалиду намертво. Нажили четырех сыновей, всем образование дали (нынче младший в институт уехал). И теперь живут славно да дружно. Любо посмотреть. И Егориха знает почему. Своей душевностью опеленал Никифор девку. И трудолюбием.

Соорудил себе в сарае верстак, пристроил возле него длинную, низкую скамейку, собрал по родне да знакомым всяческий столярный инструмент и взялся за дело. Несмотря на тяжелое свое положение, попевал не только всю совхозную работу делать, но и землякам в помощи не отказывал. Во всех подгорненских послевоенных домах рамы связаны его умелыми руками. И за то почитают Никифора в селе. На всякое праздничное застолье приглашают.

— Так ково же кликнуть-то? — продолжает гадать Паня. — Разве Силантия Скорынина.

— Да куда ему? Он и с поводырэм-то не пахарь, — качает головой Юрьиха.

— Верно. Не пахарь, — соглашается Егориха. Она понимает, что весь этот разговор без смысла. Еще с вечера, прикинув быстрым своим умом, убедилась, что из всех подгорненских мужиков, сидевших ныне по домам, нет ни одного, кого можно было бы позвать на подмогу. Все больные да увечные. А у мало-мальски пригодных к крестьянской работе теперь своих дел невпроворот.

— Земля-то уже совсем просохла, — посмотрев в окно, говорит Ленка, явно намекая, что пора действовать. — Ветерок хороший. Картофель мигом обдует!

И Егориха опять согласно кивает. Еще в полночь, когда перестала бить в окно капель, а ветер продолжал петь в печной трубе, поняла она, что приспела пера копать картофель. Земля не могла глубоко промокнуть от недолгого дождя-плакуна, и теперь только копать да копать. Ветерок быстро досушит и без того сухие клубни. Другого такого случая может не представиться. Уральский сентябрь капризен, непостоянен.

— Так идти за лошадью? — спрашивает Ленка.

— Беги, — решает Егориха. — Сама попробую. Не впервой!

— Да ты что! — пугается Паня. — На тебе и так лица нету!

— С ума сошла! — ахает Юрьиха.

— Ничего. Не впервой! — упрямо повторяет Егориха.

— Сиди. Ишь раскудахталась. Я тебя и с лопатой на огород не пущу, — буднично ворчит Никифор.

— Да оклемалась я уже, Никифорушка. Ничего со мной не сделается! — храбрится Егориха.

— Сиди. Не прыгай.

И Егориха замолкает. Понимает: прав Никифор.

Еще на заре чувствовала себя Егориха бодрой и решительной. Все еще

была заряжена сердитым вечерним «Поживу!» Управилась по хозяйству, накормила скотину, выгнала в стадо Жданку, приготовила завтрак, попотчевала снох и проводила их до ворот. А вот перед самым приходом Никифора задумала мясца достать из ледника и... чуть не ударилась. Наклонилась открыть замок — заплясали радуги в глазах, ослабили ноги, чугунно-тяжелым стало тело. Чтобы не упасть, уперлась руками в деревянную крышку ледника и так простояла неведомо сколько, пока не почувствовала облегчения.

— Ну, тогда будем лопатами копать! — решительно заявляет непоседливая Ленка. — Нечего сидеть. Не куры. Цыплят не высидим. Пошли...

Появление старшей снохи было столь неожиданным, что Егориха сначала не поверила глазам. А белобрысая сибирячка неторопливо прикрыла калитку, перекинула из руки в руку дорожный чемоданчик и кивнула женщинам, уже успевшим вооружиться ведрами и лопатами:

— Здравствуйте!

Ошарашенная Егориха и ее изумленные товарки промолчали. Лишь Ленка ответно улыбнулась, гостеприимно пропела:

— Доброе утро! Милости просим!

— Чего воротилася? Нешто забыла что? — опамятовалась Егориха.

— Ничего не забыла. Дело не сделала, — тихо ответила сибирячка.

— Какое еще дело?

— До города доехала, смотрю: погода-то разгулялась. Самое время картофель копать.

— Без тебя управимся. Ежжай. Не запаздывай, — насупилась Егориха, до того не понравились ей невесткины слова.

— А мне некуда опаздывать. Время есть. На неделю отпустили. Да и обратный билет на самолет с этим расчетом взят.

И это тоже не понравилось Егорихе. Вот ведь как получается: не спрашивая, согласна ли она, Егориха, принимать ее, старшая сноха сама себе назначила день отъезда.

— Вы что же, лопатами? Лошадь с плугом не дали? — обращаясь к Ленке, будто она была тут хозяйкой, спросила сибирячка.

— Лошадь хоть сейчас. Пахаря нет.

— Сами управимся. Хаживала я за плугом. Беги, Леночка, за лошадью, — распорядилась сибирячка.

— Вона как дела поворачиваются, — умиленно засияла Юрьиха.

А Никифор доконал Егориху окончательно. Широко заулыбался, когда познакомился, и, что с ним редко бывало, отпустил госте неуклюжий комплимент:

— Вон вы какая... Точь-в-точь как я и предполагал.

Сноха ответно засветилась улыбкой и не осталась в долгу:

— И вы точно такой, как я представляла. Мне Вася много о вас рассказывал.

— А как же... — ничуть не усомнился Никифор. — Мы ведь с ним дружно жили, с Васькой-то. Душа в душу.

От этих любезностей Егориха едва на ногах удержалась. Совсем не похожа крашенная сибирячка на вчерашнюю тихоню, которая, сжавшись комочком в углу, нелюбимо прислушивалась к чужим речам.

— Почему вы смотрите на меня так, мама? — с улыбкой обратилась к ней сноха.— Я ведь не нахлебницей, работать приехала. Не найдется у вас какой-нибудь старенькой спецовочки? А то в этом параде несподручно за плугом...

И вместо того чтобы осадить нахалку, отчего-то растерялась Егориха, опустила очи долу, забормотала:

— Да что ты... что ты... Ничего я... А пальтишко и сапожки найдутся, как же... Есть. Найду...— И юркнула за дверь, в кладовку.

— Ничего, остынет! — глухо захохотал Никифор.— Не принимайте близко к сердцу, Любовь Сергеевна. Она у нас бабка отходчивая.

— Отходчивая...— охотно подтвердили Паня с Юрьихой.

Все это слышно было Егорихе. Найти подходящее пальтишко и сапоги — минутное дело, но выходить в кухню до того не хотелось, что стала она зряшно копошиться в полутемной кладовой, будто разыскивая что-то. Выбило ее из колеи внезапное появление старшей снохи, не знала она, чем ответить на «маму», смелую улыбку и готовность помочь. Знала только: коли не сумела сразу повернуть по-своему, опустила глаза, побежала исполнять просьбу — теперь не хватит пороху перечить сибирячке, к которой, по совести говоря, не придерешься. Как придерешься к человеку, хоть и нежеланному, ежели пришел он к тебе с добром!

Так и получилось. Не стала перечить Егориха, когда сноха не пустила ее в огород, а отрядила готовить обед. Ничего не сказала, когда та слазила в ледник и отрубила три большущих куска мяса: говядины, баранины и свинины,— принесла два больших беремени дров, налила ведерный чугунок воды и поставила его на шесток, а Юрьихе и Пане наказала затопить баню.

И как будешь перечить, когда все делается с умом, по-хозяйски. И поесть людям после тяжелой работы надо по-человечески, и грязь огородную смыть полагается. А то, что отрубила сибирячка мяса не скупясь, по-доброму, даже понравилось старухе: сразу видно, что не урезают себя едой в Васькиной семье.

Видать, и с людьми умеет ладить сибирячка. Как привел лошадь однорукий Валька Званцев, так сразу нашла с ним какие-то общие слова, и через десяток минут пригнал он в подмогу шестерых соседских сорванцов во главе со своим сыном. Поехал их класс на какую-то экскурсию в город, а эти удрали и с утра шастали по молодому совхозному саду, обирая небогатые яблоки первого случайного урожая.

Парни были довольны, что так легко сошла им с рук утренняя проделка, а может, пообещала им что сибирячка,— только тут же, без лишних разговоров, рьяно взялись за дело. Да ведь и сама Егориха им не чужая. За помощь ей родители лишь похвалят. И на сладости старуха отвалит не скупясь — это уж известно!

В общем, закипела работа в Егорихином огороде, все наладилось, только бы радоваться, а все равно нехорошо на душе. И она знает почему. Хоть какой

будь умелицей старшая сноха, а не может примириться с ней Егориха. Восемнадцать лет ее совместной жизни с Васькой и пятнадцать лет Егорихиною одиночества в одну кошелку не свалишь.

Но стряпать взялась Егориха с большой охотой. Давно, ох как давно, с последних поминок по Егору, не тревожила она ведерный семейный чугун, давно стосковалось сердце по шуму и многолюдью во дворе. Не может Егориха потерять к себе уважение и поскудиться на доброе застолье. Потому пошла во двор, изловчилась и поймала двух молоденьких петухов, отрубила драчунам головы и довольнехонькая — есть еще сноровка! — принялась кухарить. Знала: для Никифора куриный суп с домашней лапшой — первейшая еда.

По мере того как управлялась, выбегала Егориха к огородным воротам и поглядывала ревнивым хозяйским глазом: как и что там делается? Может, требовалось что-то поправить? Но поправлять было нечего. Валькин сын привычно вел лошадь по борозде, а сибирячка до того умело управлялась с плугом, до того легко и безнатурно держалась за сошники, что было удивительно, как могла так справляться с хлеборобской работой эта не шибко крупная городская бабенка.

И во всем остальном был полный порядок. Парнишки выбирали картофель старательно, чисто. Паня с Юрьихой поглядывали за баней, отсортировывали мелкий картофель в отдельную кучу, а просохший крупный носили ведрами в дом, Никифору. Тот цеплял ведра крюком и спускал на веревке в голбец, где хозяйничала Ленка.

Ничего не скажешь, без всякого совета с хозяйкой разумно распорядилась сноха. Но ведь без совету! И это непривычно, обидно Егорихе...

К вечеру двор опустел. Работа сделана. Часть картофеля в голбце, другая — под навесом, в сухом месте ждет своей очереди, когда ее спустят в зимнюю яму. Пока мылись бабы в бане, наскоро перекусив, унеслась куда-то по срочным девичьим делам Ленка. Пацаны огрели по тарелке жаркого — тушеного мяса с картошкой, — отказались от Егорихиной дарственной пятерки, забрали лошадь и рванули веселой стайкой в сторону сельмага. Тут же приехал на бригадирских дрожках однорукий Валька Званцев, подзаправился вместе с Никифором и увез его домой.

В доме чисто, тишина, покой. Непокойно только на душе у Егорихи. Так и не надумала она, как держать себя с настырной снохой. Даже как обращаться теперь к ней — не знает. Называть дочкой — язык не поворачивается, просто Любой — тоже почему-то не с руки, а «тыкать» или «выкать» вовсе непривычно Егорихе.

Пришли из бани Паня с Юрьихой, приводят себя в порядок возле трюмо в одной из спален (их в доме три), о чем-то тихо переговариваются, похихикивают. Егориха накрывает семейный праздничный стол в горнице и беспокойно прислушивается к этому хихиканью. Разобрать ничего нельзя, но и без того понятно, что сноха пришлась по нраву товаркам.

А что она, Егориха, знает о ней? Почти ничего. Как сказал Васятка, еще будучи в отпуске, что, может быть, скоро женится, — так на том все сведения и кончились. Припоминает Егориха, что вроде бы в то время училась невестка в

каком-то техникуме. Потом приходит телеграмма, что поженились, были короткие приписки в денежных переводах, что родился сын Вовка, родился Игорь, родилась Ольга,— и больше ничегошеньки не знает Егориха о старшей снохе. И только теперь по-настоящему понимает, как не по-людски у них в семье вышло.

Стол у Егорихи получился нарядным, богатым. Аппетитный стол. Тут и селедочка жирненькая, сальце прошлогоднее — розовенькое, нежное, и помидоры, и огурчики, и грибочки нынешнего свежего посола, и яйца вареные горкой, и колбаска копченая из ледника, давно купленная, и домашний окорок. Объедение! А в печи ждут бабьей оценки куриная лапша и жаркое. Раньше бывало, если тушила Егориха картошку с мясом, то уж или с говядиной, или свининой, или с птицей какой, а тут нарубила сноха всех сортов и попросила жаркого. Хоть непривычно — послушалась Егориха. И славно получилось. Отменно. Век живи — век учись!

В другое время измаялась бы Егориха, выжидая приговор гостей: в меру ли посолила, достает ли луку, перца и лаврового листа. А сегодня знает, что все хорошо, вкусно, всего в самый раз, а нет прежней хозяйской поварской заботы и тайной гордости. Мается Егориха, не зная, как вести себя в собственном доме, куда класть на ночь нежданную повторную гостью (прошлые ночи сноха сама забиралась на печь — не пожелала общаться в спальнях с Варварой и Ниной Всеволодовной), как откликаться, если сибирячка вновь назовет «мамой». Вот ведь какая закавыка.

Гулко стучает дверь, и ответно ёкает у Егорихи в груди. Пришла из бани сноха. Надо встречать, угощать, разговаривать...

«Господи, и за что такое наказание!»

Несмотря на обильный стол и бутылку «Столичной», беседа не клеится. И Егориха жалеет, что сглупила — сбегала в баню первой, покуда дотаскивали под навес картошку. Милое бы дело оставить сейчас разругавшихся баб за столом, а самой уйти мыться. Уж без нее-то наверняка налачился бы вечерний женский разговор. А тут все чего-то и кого-то стесняются, помочили губы в рюмках и принялись за еду, уставились в миски.

Выручает словоохотливая Паня.

— И где ты только наострилась мужицкой работе? — интересуется она, мелко пережевывая разопревшее мясо своими шестью мышинными зубами.

— Как где... Дома. Каждую весну огород пашем, к дедушке в деревню ездим помогать...

— Вона как, значит... Своим домом с Васькой живете! — удивляется Паня.

— Нет. Дом казенный. Вроде коттеджа. А на задах огороды. Трактору там несподручно, не развернешься, так мы лошадь на шахте берем. С соседками. Вспашем и садим картофель да всякую мелочь.

— Ишь ты... Сами! — одобрительно ахает Юрьиха, демонстрируя свои сохранившиеся зубы.— Это при справных мужиках-то!

— А-а... Наши мужики! — добродушно отмахивается сибирячка.—

Дождешься их! То на работе, то собрание, то аврал...

— Страшно там, под землей-то? Поди, как в преисподней...— ежится бабка Паня.

— Да не сказала бы. Нормально. Человек ко всему привыкает. Вроде бы так и надо,— пожимает плечами Любовь Сергеевна.

— Что, неужто и бабы там робят?

— Сейчас мало. Но есть. Я сама после техникума пять лет маркшейдером была. И ничего. Цела, как видите.

— О господи! — путается Юрьиха.

А Егориха думает о своем. Она никак не может задать главный вопрос, который не дает покоя много лет.

— Что, сама оттолева ушла, или попросили? — любопытствует Паня.

— Попросили! — смеется Любовь Сергеевна.— Окончила институт, перевели в шахтоуправление. В плановый отдел.

— Ишь ты! — уважительно качает головой Паня.

И Егориха тоже удивленно косится на сноху — никак не ожидала, что Васькина жена, недавно так сноровисто управлявшаяся с плугом, имеет высшее образование. Всех переплюнул забулдыга Васька!

— Кем же ты сейчас, Любава? В начальствах ходишь? — явно завидуя Егорихе, интересуется бабка Юрьиха, сноха которой со дня свадьбы бросила вечернюю школу и с тех пор нигде и не работала, и не училась.

— В начальствах! — смеется Любовь Сергеевна, ей, видимо, забавна наивность старух.— Заведую планово-экономическим отделом шахты.

К великому материнскому удовлетворению Егорихи, Паня с Юрьихой ошарашенно молчат. Но ни образованность, ни большая должность снохи не могут примирить Егориху с ней.

— Послушай-ка...— решается она.— А чего же это Васька не захотел отца роднова до могилки проводить? Пошто не приехали?

— Так получилось...— тускнеет Любовь Сергеевна.— В больнице Вася лежал.

— Что же с ним такое приключилось?

— Под обвал попал.

— Куда?

— Под обвал. Породой засыпало. Лишь через три часа горноспасатели откопали. Плох он был...— Голос Любви Сергеевны обрывается порванной струной.

У Егорихи бессильно падают руки со стола, она надолго немеет, потом тихо, почти шепотом спрашивает:

— Так пошто вы мне не отписали?

— Вася в гипсе был,— откликается Любовь Сергеевна.— А мне запретил. Не надо, сказал, тревожить. У нее и без того горя хватает. Съезжу потом сам...

— И пошто же потом-то?..— шепчет Егориха.

— Сначала сам пять месяцев лежал, потом я свалилась — Игорем в положении была. После родов болела долго. А от вас ни строчки. Мы писали-

писали — ни ответа ни привета. Ни от вас, ни от братьев. Психанул тогда Вася: деньги велел высылать регулярно, а писать запретил, пока сами не черкнете... Характер- то у него, сами знаете...

— Чего характер...— втянув в плечи голову, словно оплеуху получив, ошеломленно бормочет Егориха.

— Вы — мать, он — сын. Вам лучше знать, какой и от кого у него характер. Нашла коса на камень! Или не так? — резко поворачивается Любовь Сергеевна к свекрови.— Разве вы ответили хоть на одно письмо? Нам, думаете, легко тогда было?

— Ладно, ладно, девки,— пугаясь возможной ссоры, начинает суетиться бабка Паня.— Еды вона сколь, бутылка на столе скучат, а мы все языки чешем. Давайте-ка по рюмочке с устатку. Эвон какое дело проворотили! Ну, будем здоровы! — И принимается чокаться.

Егориха пьет и не чувствует горечи, до того горько на сердце. Права белобрысая сибирячка: и в самом деле писали. В самом деле она не отвечала. И младшим сыновьям запретила. Когда же, с чего же она начала копить злобу, когда начала копать яму-неперейдиху меж собой и сыном? Когда очерствела сердцем? И не от нее ли заразились этой черствотой младшие? Ой как тяжко на душе! Словно снова навалилась болезнь, так жжет и саднит в груди...

«Сама, сама оттолкнула... Сама взярылась... Все на своем поставить хотела!»

А Паня, Юрьиха и Любовь Сергеевна ничего не подозревают, по-своему расценивают молчание хозяйки и потому радуются благополучно завершившемуся объяснению.

— Пьет Васька-то здорово? Он ведь раньше ох-хо как силен был по этой части. Только успевай подавать! А потом по деревне колобродит. Помнится, кладовщика Ваньку на сосну загнал. До полуночи тот, стервец, на суку сидел, боялся спущаться! — хохочет бабка Паня.— Ох и громобой был!

— Бывает! — веселее откликается Любовь Сергеевна.— Только теперь лишь по праздникам. А старого уже нет. Как приехал тогда из Подгорного, рассказал мне обо всем — и словно отрубил.

— Ух ты! — восхищается Юрьиха, всплескивая ладошками.— Рассказал! И про Нюрку тож?

— И про Нюрку. Как на шею вешалась, а когда зашла соседка, крик подняла. И про Ивана...

— Вона что! — вздрагивает Егориха, и на душе у нее становится еще горше. Ведь знало, чувствовало материнское сердце, что так оно и есть, а уперлась, огневалась, оправданий ждала. А если подумать: какие слова мог сказать Васятка в оправдание, ежели без свидетелей, ежели с такими бесстыжими людьми бог свел? Кроме лишних разговоров да лишнего позора родителям, ничего из тех слов не получилось бы. Наверняка так посчитал Васятка. А они с Егором не поняли... Даже Васькиными переводами не пользовались, деньги на книжку писали, чужими считали... До сих пор неиспользованными записаны в отдельной сберкнижке Васяткины трудовые

рублю... «Ах, старая, старая, одурела совсем!»

Егориха косится на сноху выцветшим глазом и только сейчас замечает, что та вовсе не крашенная. У нее натуральные, чуть вьющиеся льняные, очевидно, очень мягкие волосы.

— Значится, ладно живете...— сумрачно произносит она.

— Грех жаловаться. Пока учились, тяжело приходилось. А как окончил Вася техникум, так сразу другая жизнь пошла. На все времени хватать стало, все наладилось. Вася даже на баяне играть научился. И на слух, и по нотам. Теперь первый баянист на шахте.

— Ого! — восхищается Паня.

— Техникум? — удивляется Егориха.

— Да. Наш горно-металлургический. Еще в пятьдесят девятом. Без образования нельзя. Он же горный мастер!

У Егорихи опять опускаются руки. Ничего-то ничегошеньки не знает она о первенце. По застарелой досадушке считает его забулдыгой, а парень и образование подтянул, и детей по-людски растит, и ко всему прочему даже на баяне научился. По-настоящему живет!

— То и не едете сюда,— тоскливо говорит Егориха.— То-то и нету вам сюда пути-дороги...

— Да что вы, мама! — протестующе взмахивает руками Любовь Сергеевна.— Как раз наоборот... Но никто ведь нас сюда не приглашал. А Вася так скучает по родным местам! Я много раз предлагала: давай поедем, не выгонят же... А он опасается. Говорит: у меня мать с предрассудками...

Эти слова точно кипятком обдают Егориху.

— Скучает, говоришь?

— А как же! Он о своем Подгорном, своем тереме мне и приятелям все уши прожужжал. Ведь это же родина! Мне мое село тоже часто вспоминается. Чего в том удивительного?

— А насовсем-то он поехал бы сюда? — словно в омут бросается Егориха.

— Я бы поехала. Понравилось мне у вас, а Вася... С ним сложнее. Хотя давно ему пора из забоя уходить,— голос невестки становится озабоченным.— У врачей есть серьезные подозрения на силикоз.

— На что? — вздрагивает Егориха.

— Силикоз. Когда пыль оседает на легких...

— Матушки! Дак ты-то что смотришь! — ахает Егориха.

Паня с Юрьихой испуганно переглядываются.

— Я уже два года воюю, чтобы переходил на поверхность, да куда там...— Любовь Сергеевна качает головой.— Подземный стаж у него выработан с лихвой... Но ведь это Вася. Ему все нипочем!

— Ты же жена! Гни свое! — не находит своим рукам места Егориха.— Али он не понимает?

— Все понимает,— печально улыбается невестка.— Да ведь привык к своей работе и не представляет себя в какой-то другой роли. Вот в чем загвоздка. Я и ехала сюда, по чести говоря, с тайной надеждой на вашу помощь. Ничто на

свете, кроме вас и медицины, не сможет заставить его вылезти из шахты. Но врачи пока напрямую не запрещают, а время-то идет...

Внезапно вспыхнувшее материнское чувство бросает Егориху к Любове Сергеевне. Она разом забывает о своей неприязни, настороженности, охватывает худыми руками мягкие плечи невестки, прижимает ее к своей впалой груди:

— Милая ты моя Любава-Любаха... Да я на тебя век молиться буду, ежели привезешь его сюда!

И завихрился дым коромыслом в Егорихином доме. Куда только подевались недавние вздохи, игра в молчанку. Шуму и разговоров — пруд пруди. Охмелела Егориха, но не замечает этого. Словно улетучилась, сгинула недавняя хворь! Подумать только: помирать собралась! Вот дура-то! И, вновь обретя себя, прежнюю да нехворую, шумит Егориха, привычно командует:

— Панька, голуба-душа, сделай милость, плесни мне лапшички с курятинкой. Есть хочу, гулять хочу! Юрьиха, мила девка, достань-ка из буфета еще маленькую. Застоялась она там! Пирует седня Егориха! Смртушку прогоняет!

И, обрадованные Егорихиному возрождению на меньше ее самой, товарки носятся по дому как угорелые, стараясь угодить хозяйке.

— Эх, Васьки нет с баяном...— дурашливо приплясывает Юрьиха, колыхаясь грузным телом.— А то бы щас... Пляшете вы хоть там на своей шахте?

— А как же! — смеется Любовь Сергеевна.— Еще как!

— Так за чем же дело стало! — загорается Егориха.— Что мы, хуже других? Пляши, бабы! — Она откидывает крышку старой, еще Васяткой купленной радиолы «Урал», ставит наугад пластинку. Удачно ставит. В точку. Ревут в гостиной баяны, вихристо выводя плясовую.

Юрьиха в лад притопывает перед гостьей.

Приглашение принято. Легко вспархивает со стула Любовь Сергеевна, крыльями раскидывает руки и, запрокинув светлую голову, невесомо плывет по кругу, выбивая каблучками частую дробь. А рядом с ней серой мышкой припрыгивает раскрасневшаяся бабка Паня, забывшая о своих немалых годах, тройном вдовстве и шести зубах, оставшихся от былой пленительности.

Егориха глядит на них и нарадоваться не может. Ах, молодец Васятка! Такую славную жену себе сыскал! И собой пригожа, и образованна, и разумница, а главное — артельная, без спеси. Напрасно она, Егориха, взелась на свою жизнь, уж не так в ней все плохо, и не зря она жила на свете!

Никогда не слыла Егориха знатной плясуньей, но было время, когда ладилось у них с Егором все добром да ладом, любила и она в угарный праздник побить ноги в кругу товарок под разухабистую, задорную частушку. Так бы, кажется, сейчас и пошла в пляс, да только вот ноги... Смотрит Егориха одним глазом на невестку — другим в тарелку, одной рукой в такт помахивает — другой ложку за ложкой в рот отправляет. Такой вдруг лютый голод проснулся в ней. Совсем не к месту, не ко времени, но ничего поделать с собой не может. Что поделаешь, ежели всколыхнувшаяся жажда жизни своего требует — ей топливо

подавай. Кажется, откажи себе — в самом деле тут же за столом богу душу отдашь!

— Ух ты! Ух ты! — взвизгивает бабка Паня.— Подбавь, подбавь, Егориха! Перекинь иголочку...

Пошипев напоследок, умолкла радиола. Обмахиваясь платочками, разнежились на стульях уморившиеся плясуньи. Отвалилась от стола насытившаяся, обмякшая Егориха.

— Фу-у, умаялась. Давнехонько так не тряслась,— утирая повлажневшие глаза, услажденно бормочет Паня.— Вот старая! Вот греховодница! Надо же!

— Хорошо, баско сплясали! — отдувается Юрьиха.— Что тебе та свадьба!

— Ну и славно,— одобряет Егориха.— Не всю же жисть робить да горести подсчитывать...— И обращается к невестке: — Так, выходит, по душе тебе наши края, Любавушка? Не хуже ваших?

— Красиво у вас.— Любовь Сергеевна смотрит в окно.— Воздух чистый, горы, лес, пруд такой большой...

— Так за чем же дело стало? Забирай Василия. Пушай домой едет.

— Это не так просто. Ведь надо подумать не только о жилье, но и о работе.

— Без работы не останетесь,— вразумительно объясняет Егориха.— Была бы шея! Вон автобусы городские через каждый час приходят. Почитай, половина подгорненских мужиков и баб в городе робит. И ничего. Не жалобятся! Шахта медная рядом.

— Да я-то все понимаю. Съезжу завтра в город, на соседних предприятиях побываю... С тем и ехала. А вот как Вася... Не мне — ему решать. Все-таки должен он понять. Упустит время — будет таскаться по больницам. Ему все об этом говорят. Даже руководители шахты! А он упирается... Пора бы уж поумнеть.

Старухи согласно кивают. Резонно рассуждает женщина. Так оно. Если по уму, то всякий человек обязан разумно распорядиться своим здоровьем. Взять их самих: в том, что они до сих пор обрабатывают и содержат себя,— великое их удовлетворение, исток настоящего самоуважения, безбахвальной старушечьей гордости.

— Ты, видать, партийная? — осторожно интересуется бабка Паня.

— Уже пятнадцать лет.

— Ишь ты...— Паня и Юрьиха переглядываются со значением.

— Да. Надо ему дельно собой распорядиться,— как бы сама себе, негромко говорит Егориха.— Ста

рая. Грамоты тоже не шибко... Но разумею.— И строго вскидывает жидкие брови.— Разумею. Не надо везти его, Любава. Пушай сам приезжает. Сам! Благословляю! Так и передай Ваське! В сорок третьем благословила, сейчас то же самое говорю!

Управившись по хозяйству, Егориха спустила с цепи Гая. Скучно одной.

Пусть побегают старый. Будет хоть кому слово сказать. Обрадованный кобель взвизгнул с восторгом, взвился на дыбы, норовя лизнуть хозяйкино лицо.

— Я те! — погрозила Егориха и притворно стукнула костяшками пальцев по собачьей морде. Гай не обиделся. Благодарно лизнул эти самые старушечьи костяшки, словно кутенок, восторженно задрал облезлый хвост и сломя голову понесся по двору, пугая кур и нахальных воробьев, забравшихся в обтянутый сеткой гусиный загончик. А Егориха, наблюдая за ним, присела на чистое крылечко отдохнуть, подумать.

Уже три дня как уехала Любава-Любаха. Добрую неделю не приходят по утрам Паня с Юрьихой помочь по хозяйству. Сама управляется Егориха. Хоть и чувствует слабость, хоть и устает непривычно, но на людях бодрится, и потому чужую опеку, как всякий самостоятельный человек, считает зазорной. Но в опустевшем доме чувствует себя потерянной. В самую бы пору выйти на работу, на люди, но врачи не отпускают, фельдшер свое твердит:

— Сиди, старая. Обьегорила костлявую, так сиди. А будешь ерепениться, мигом на пенсию вышибу. Потому посидеть с месяцок тебе весьма полезно.

Вот она и сидит. А сидеть в одиночестве совсем не хочется. Так бы и поговорила, посудачила с кем-нибудь.

Хотя бы о той же Любаве-Любахе (теперь и про себя не называет ее иначе старуха). Неделю прожила, а дел полезных столько проворотила, сколько не припомнит Егориха за младшими снохами во все годы. И картошку в яму спустила, и ботву собрала, и хлев вычистила, и навоз в огород определила, и скопившуюся стирку провернула, и насчет вывозки Егорихиных дров и сена с директором совхоза договорилась. Бой-бабенка! И честная. Уж в этом-то не проведешь Егориху. За век пригляделась к людям.

Съездила несколько раз Любаха в город, успокоила свекровь: есть для них с Васяткой подходящая работа. Но не уловила Егориха в ее голосе обычной уверенности.

По всему видно, удалась у них семейная жизнь с Васяткой. Ладом да миром живут. Так неужели такая грамотная да деловая женщина не может совладать с Васяткой? Уж кто-кто, а Егориха-то знает, что, несмотря на всю свою вспыльчивость и отчаянность, отходчив и незлобив сердцем старший сын, а в житейских делах разумен и понятлив. Не может он не понимать свою смышленицу жену. Так думается Егорихе. Но опять же почему нет у Любавы-Любахи уверенности? Или там, на далекой шахте, сделалось нечто такое с Васяткой, что разменял он свое разумение на глупое мужицкое упрямство?

Сидит Егориха на крылечке, и расползаются ее мысли в разные стороны, словно сметана из разбитой кринки. Наверно, потому бездумно теребит Егориха рукав нарядной голубой кофточки, которой одарила ее сноха из своего чудного чемоданчика. Чего только в нем не было! Кроме всяких немудрящих дорожных женских вещичек — большая коробка с разными редкими лекарствами. И в порошках, и в пилюлях, и в скляночки разлитых. Для нее, для Егорихи, на всякий случай привезенных. При виде этих лекарств старик фельдшер даже ахнул, и глаза у него загорелись, что у голодного кота.

А еще привезла Любава-Любаха два толстенных черных пакета с фотографиями. И обычными и цветными. Оказывается, старший внучек Вовка сызмальства фотографией интересуется. Шибко хороши оказались карточки. Особенно цветные. Была на них изображена вся Васяткина семья во всех видах — и вместе, в обнимку, и по отдельности, и дома, и в саду, и еще бог весть где! Рассматривать хватило на целый вечер.

Васятка глядел с карточек справным. В теле. Молодо глядел. Хотя в плечах и в животе подался и по вискам подпалину заимел, но чтобы сильно постарел — такое даже Егорихе при всей материнской привередливости сказать грешно. И внучата ухоженными, веселыми, на диво Егорихе, взрослыми оказались. Обличьем, правда, больше в мать, но и отцовское. Хорошевское, так и пялится из каждого...

Как ни просила, ни уговаривала сноха черкнуть Василию хоть коротенькую записочку, не стала писать Егориха, решила старым умом своим: Васятка сам все поймет. Сам голос подаст, сам приедет.

Не написала, а теперь ой как муторно. Теревит Егориха рукав кофточки, и гложут ее сомнения: правильно ли поступила? Хоть бы пришел кто-нибудь из своих, с кем можно поговорить, поделиться сомнениями. Все было б легче.

Стук отворяемой калитки заставляет Егориху встрепенуться.

Деликатно притворив калитку, перед ней предстает Дмитрий Скорынин, а по-уличному — Митька. Правда, так его давно никто не зовет, но для Егорихи он как был Митькой, так им и остался.

Митька — ровесник Григория. Вместе в школе за партой сидели, хотя друзьями никогда не были. Уж слишком разными оказались. Не в пример младшенькому Егорихиному галчонку, сызмальства привык крепыш Митька к крестьянскому труду, денно и ночью вертелся возле колхозных мастерских. В войну наравне со всеми гнул хребет в поле, за доброго мужика управлялся с сеялкой или на соломокопнителе. Для всех незаметно после войны превратился в заправского механизатора. На тракторах, на комбайнах работал. Прилично зарабатывал. В общем, был своим человеком в селе, пока не сбили его с толку...

Приезжал как-то к Скорыниным дальний родственник. Неизвестно, какие слова нашел для парня, но только ударился после того визита Митька в науку. Поступил заочником в институт. Да не в какой-нибудь, в юридический. И ведь окончил, упрямец. С тех пор и произошли с ним великие перемены. Преобразился он из деревенского простяги в степенного служащего, со всеми на «вы», со всеми по имени-отчеству. Понятное дело, односельчане в долгу не остались. У кого язык повернется Митькой назвать! Все же районный нотариус, да еще в какой-то городской адвокатской конторе совместительствует!

— Добрый день, Клавдия Петровна! — вежливо здоровается Скорынин.

— День добрый, Митрий Данилыч! — соответственно раскланивается Егориха.— Милости прошу! Дорогим гостем будешь!

В горнице Скорынин с достоинством кладет свой пузатый, видавший виды портфель на стол и садится сам, предварительно проверив на прочность стул.

— Тэ-экс... Мне передали вашу просьбу. Вот я и зашел, чтобы выяснить

подробности, детали, подготовить черновик. Я считал... хм-хм... а вы...— Скорынин изумленно таращит маленькие зеленые глазки, он немало удивлен бодрым видом хозяйки— Хм... О, вы такая нарядная! На сто лет помолодели. Честное слово. Прелестная кофточка!

— Да наведаться тут к одним собралась...— смутившись, неумело врет Егориха.

Не скажешь же нотариусу, как в ту бессонную ночь придумала, что все будет хорошо, все будет по-заданному, если будет она ежедневно надевать сынов подарок. Ни в святые мощи, ни в освященные крестики не верит Егориха, а вот на кофту загадала. И теперь каждый день, управившись по хозяйству, выражается, словно в праздник. Это у нее вроде подковы. Для удачи. Признайся кому — засмеют!

— Ого! Уже по гостям! Хм... Это хорошо. Хм... Ну, так в чем суть вашей просьбы? Мне сказали, что вы решили оформить завещание. Это так?

— Так...— Егориха уже успела забыть о недавнем разговоре с товарками — столько событий свершилось за две недели! — и приход Скорынина оказался для нее полной неожиданностью.— Только, наверно, зря я тебя потревожила, Митрий... Оклемаюсь вроде бы я...

— Очень рад за вас, очень! А то люди такого наплели... Хм... Но завещание заранее оформить, я считаю, не вредно.

— Так ведь оклемаюсь...

— Ну и что? — у Скорынина дугой изгибаются кустистые выгоревшие брови.— Доброе здравие — делу не помеха. Мало ли что...

И Егориха понимает, о чем не договаривает нотариус. Ей хочется сказать, что уж когда-когда, а теперь-то она не помрет. Не время. Несмотря на затаившуюся хворость, зубами будет держаться за жизнь, а дождется, пока не появится в доме настоящий хозяин, пока не обнимет старший сын ее уставшие плечи. Это когда последние надежды в себе затоптала — тогда все равно было, в кой день помирать. А теперь... Но подходящие к моменту слова не находятся.

— А я советую.— Скорынин вдруг улыбается своей давней простецкой мальчишеской улыбкой, назидательно поднимает вверх указательный палец.— Юристы давно подметили, что предусмотрительные люди, как правило, всегда живут дольше!

Егориха продолжает молчать. Размышляет. Понимает, что в чем-то прав нотариус. Нет, не из-за возможности внезапной смерти надо записать свою волю, а из-за чего-то другого... Чего же? Ах, как прав этот смышленец Митька! Из-за Васятки. Пойдет он супротив, засовестьется, бескорыстец, когда объявит она о своей задумке. А так будет все сделано загодя. Что заготовлено материнским умом — то и принимайте, сыночки. Сладко ли, горько ли, а принимайте как есть!

— Правильно говоришь, Митрий,— соглашается Егориха.— Разумно. Надо составить бумагу.

— Вот это другой разговор,— оживляется Скорынин.— Тогда ближе к делу.— Он достает из портфеля объемистый блокнот и авторучку.— Самое главное — это само существо завещания, ну, данные о движимости-

недвижимости, финансовые распоряжения, документы на домовладение...

— Моя движимость-недвижимость тебе, Митрий, не хуже меня известна,— машет рукой Егориха, идет к комоду, достает резную деревянную шкатулку с семейными документами, вываливает ее содержимое на стол.— Все казенные бумажки на усадьбу здесь. Все до единой. А тут все финансы.— И подает две сберегательные книжки.

— Ого! Даже две...— удивляется Скорынин.

— Две. Во второй, отдельно, Васькины деньги записаны. Что высылал...

Скорынин опять вскидывает вверх, изгибает коромыслом кустистые брови, но ничего не спрашивает, очевидно, догадываясь о причине.

— Тэ-экс... Хорошо. Приобщим, как говорится, к делу. Ну а само существо?

— Существо? — Собираясь с мыслями, Егориха опять тербит кофточку, наконец решается:—А существо такое... Понимаю я своим умом так: кто строил хоромину, кто к ней руки приложил и продать ее не зарится — тому все и отписать. И дом, и усадьбу, и живность, и эти деньги сбереженные.

— Одному?

— Одному.

— И кому именно?

— Ваське.

— Василию Егоровичу? — Лохматые скорынинские брови опять взлетают вверх, коромыслятся.

— Ему самому.

— А если Пантелей с Григорием тоже здесь поселиться пожелают?

— Не пожелают. Знаю, чего они пожелают.

— Тэ-экс... Но ведь и они наследники и имеют...

— Ничегошеньки они тут не имеют. А ежели имеют, то я их лишаю...

— Хм... Но если они будут претендовать, если окажутся достойными... Как это выразить...

— Чего тут выражать?...— хмурится Егориха.— Знаю их достоинство. А поумнеют, то пусть Васька и решит, namного ли. Он старшой — ему и карты в руки. Хочет — наказывает, хочет — милует.

— Но ведь Пантелей с Григорием тоже Хорошевы!

— Хорошевы, да не те! — рубит Егориха.

— Понятно.— Скорынин бросает на хозяйку быстрый веселый взгляд, и Егориха читает в его умных зеленых глазах полнейшее одобрение.— Тэ-экс... Ну, посмотрим ваши бумаженции...— Он пододвигает к себе ГРУДУ бумаг и начинает неторопливо просматривать их.

А Егориха, сказав наконец окончательное слово, чувствует огромное облегчение, будто пудовую гирию с сердца сбросила. Разом улетучились недавние сомнения и тревоги, словно смыла она их с себя, словно в бане побывала, очистилась от чего-то и перед собой, и перед покойным Егором. Теперь и на окружающий мир смотрится другими, просветленными глазами.

Егориха глядит на громадного Скорынина, разбирающего бумажную

грудю, и чувствует жалость к нему.

Правы односельчане: сбил с толку парня тот наезжий краснобай-родственник. Хоть и таится Митька, хоть и виду не подает, но всем в селе известно, что тяготится он своей канцелярской службой. Вот как оно бывает, когда выучится человек не тому, к чему душа лежит.

— Митрий, а Митрий...— неожиданно для себя произносит Егориха.— Ты ведь раньше-то все к машинам льнул, сызмальства в лесу, в поле, а теперь... Не тянет тебя назад?

Скорынин растерянно таращит глаза, круглое лицо его начинает пунцоветь.

— Ты не сердись. Твои друзья-приятели-то, что на тракторах да комбайнах, вона как знатно получают, мотоциклы, автомашины понакупили, домищи вона какие понаставили. Чем ты их хуже? На кой ляд тебе эти бумажки? Ты ведь вон какой... Тебе естество подавай. Разве не тянет, Митрий?

Скорынин глядит куда-то в сторону, вздыхает и, помедлив, буднично признается:

— Тянет, бабка Егориха, ох как тянет!

И нет уже «выкающего» официального лица, сидит перед старухой обычный деревенский здоровяк с выражением неподдельной тоски на круглом лице. Егорихе еще больше жаль его.

— Так бросай ты эту кутерьму!

— И брошу! — Скорынин шпыняет здоровенным кулачищем свой пузатый портфель, который совсем недавно с таким казенным достоинством клал на стол.— Брошу. До весны только дотянуть... Директор совхоза говорил, что новая техника поступит... Обещал.

— Вот и по уму будет! — одобряет Егориха.

Они надолго замолкают, думая каждый о своем. Очевидно, вспомнив наконец о своем официальном положении, Скорынин спохватывается:

— Только вы того, Клавдия Петровна... Никому.

— Ну что ты, Митрий. Я ведь понимаю.

— Тэ-экс...— Митрий откидывается на спинку стула.— Порядочек. Полный ажур. Все нужные документы налицо. Печати и пишущая машинка у меня в конторе, так что придется документы взять с собой. Подготовлю текст завещания и через денек забегу. Так что вы не беспокойтесь, не бегайте понапрасну...

Но Егориха не слышит его. Она прильнула к оконному стеклу, и сердце у нее готово вырваться из груди от внезапного испуга.

Вдоль улицы к ее дому сломя голову бежит быстроногая Ленка. Бежит, нетрудно догадаться, с почты, и в руке у нее белеет какая-то бумажка. «Неужели что с Любавой-Любахой? — цепенеет от ужаса Егориха.— Пронеси, господи!»

Неизвестно почему — будто молнией пронзило — вспомнился вдруг последний вечерний разговор со снохой. Призналась тогда Егориха, что отродясь не бывала даже близ самолета, спросила сдуру, не страшно ли летать. Любава-Любаха смеялась, утверждала, что ничуть не страшно, грозилась свозить

куда-нибудь ее, Егориху, и обязательно самолетом. Какой-то бес попутал Егориху, стала она уговаривать невестку, чтобы ехала поездом. Чего-то испугалась. Но Любава-Любаха лишь посмеивалась над ее страхами и в конце концов убедила, что нынче летать гораздо безопаснее, нежели ездить в автобусе.

Помахивая бумажкой, резво бежит по улице Ленка, а Егориха камнем-валуном застыла у окна, так припечатало ее к месту это неожиданное воспоминание-предчувствие. Грохает калитка, без стука распахнув дверь, врывается в дом раскрасневшаяся Ленка. Скинув туфлешки, пробегает в горницу. Пританцовывает, помахивая над головой листочком:

— Пляши, бабка Егориха, телеграмма тебе!

«Господи, пронесло!» — с облегчением переводит дух Егориха.

— Пляши, пляши, а то не отдам! — дурачится Ленка.

— Да не трясись ты, чумная! — притворно сердится Егориха.— Давай сюды!

— Пляши, пляши!

— Я те попляшу! Давай сюды. Что тамося? От кого?

— А вот от кого! — Ленка торжественно кладет листок на стол, расправляет пальчиками складку.— От Василия. Читай!

— Да читай ты вслух, всполошная. Не вижу я без очков...

Зрение у Егорихи отличное, но от радостного волнения крупные черные буквы на свежеприклеенной ленте в самом деле по-циркачьи прыгают в глазах.

— Не обманывай. Все видишь. На, читай сама. В общем, с тебя плитка шоколада! — и Ленка подает Егорихе бланк телеграммы.

Та осторожно принимает его, всматривается в пляшущие строки:

«Вылетаю субботу. Пока отпуск. Держись молодцом. Верю все будет хорошо. Крепко целую Василий».

— Ну, поняла? — Ленка забирает из ослабевших старушечьих пальцев телеграмму, вслух перечитывает ее.

— А пошто он пишет «пока»? — пугаясь неизвестно чего, растерянно спрашивает Егориха.— «Пока» — это пошто, а?

— А как же! — простецки улыбается Скорынин.— В том-то и дело, что «пока в отпуск». Следовательно» в следующий раз — окончательно. Мне так думается, Клавдия Петровна.

Но Егорихе и самой все ясно. Давно забытое чувство безмерного счастья начисто лишает ее способности контролировать себя, она не знает, куда деть руки, что говорить и делать.

Кто-то настойчиво скребется, царапается в наружную дверь. Этот негромкий посторонний звук наконец- таки слышит и Егориха.

— Кто там шабаркается? — спохватывается она, хотя знает отлично, кто и зачем просится в дом.

Распахнута дверь, и через порог чинно перешагивает Гай. Перешагивает и тут же садится. Воспитанный пес! С щенячьего возраста живет во дворе и в хоромине привык бывать (да и то не далее порога!) лишь в лютые морозы да великие праздники. Очевидно, сейчас почувствовал чутким собачьим сердцем,

что нечто необычное происходит в доме, что, видимо, великая радость случилась у хозяйки.

— Ишь ты, барин какой пожаловал! — умиленно ворчит Егориха.— Напрыгался, теперь, поди, закусить желаешь?

Гай встряхивается. Смотрит на хозяйку влажными коричневыми глазами, как бы проверяя свою догадку. Если в самом деле великая радость в доме, то не прогонят его прочь, а как раз наоборот, будет ему, Гаю, вкусное угощение: сахарная косточка, а то и добрый шмат вареного мяса.

— Чего уставился, бесстыжий! — продолжает бурчать Егориха. Гостям ничего путного она сказать пока не в состоянии и потому изливает свои чувства догадливому псу.— Обжора ненасытный! Чего надо? Чего вашей светлости подать?

Пряча от людей счастливое лицо, Егориха начинает шариться по залавку. Руки у нее подрагивают, в голове чехарда, она бессмысленно глядит на полки, но ничего не видит. Поэтому никак не может обнаружить заранее припасенное для собаки лакомство.

А умный Гай, убедившись в правильности своего предчувствия, радуется за хозяйку. Вывалив набок розовый язык, улыбается ей преданной собачьей улыбкой, празднично барабаня хвостом по дверному косяку.

1972 г.